

ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН

ДОРОГА НА АСТАПОВО

[п у т е в о й р о м а н]

ЭКСПЕДИЦИЯ В ПОИСКАХ ТОЛСТОГО



Жизнь и творчество Толстого

Травелог

Владимир Березин
Дорога на Астапово

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

Березин В. С.

Дорога на Астапово / В. С. Березин — «Издательство АСТ»,
2018 — (Травелог)

ISBN 978-5-17-109456-0

Владимир Березин – прозаик, литературовед, журналист. Автор реалистической («Путь и шествие», «Свидетель») и фантастической прозы («Последний мамонт»), биографии Виктора Шкловского в «ЖЗЛ» и книги об истории автомобильной промышленности СССР («Поляков»). В новом романе «Дорога на Астапово» Писатель, Архитектор, Краевед и Директор музея, чьи прототипы легко разгадать, отправляются в путешествие, как персонажи «Трое в лодке, не считая собаки». Только маршрут они выбирают знаковый – последний путь Льва Толстого из Ясной Поляны в Астапово. Повторяя его, герои рассуждают о русской культуре и истории, дивятся заброшенным дворцам и храмам, веселятся и печалются.

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-109456-0

© Березин В. С., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Предречение	7
Ясная Полянка	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Владимир Березин Дорога на Астапово

Андрею

*Паломничество моё удалось прекрасно.
Я наберу из своей жизни годов пять, которые дам за эти десять
дней.
Лев Толстой в письме к Ивану Тургеневу от 26 июня 1881 года*

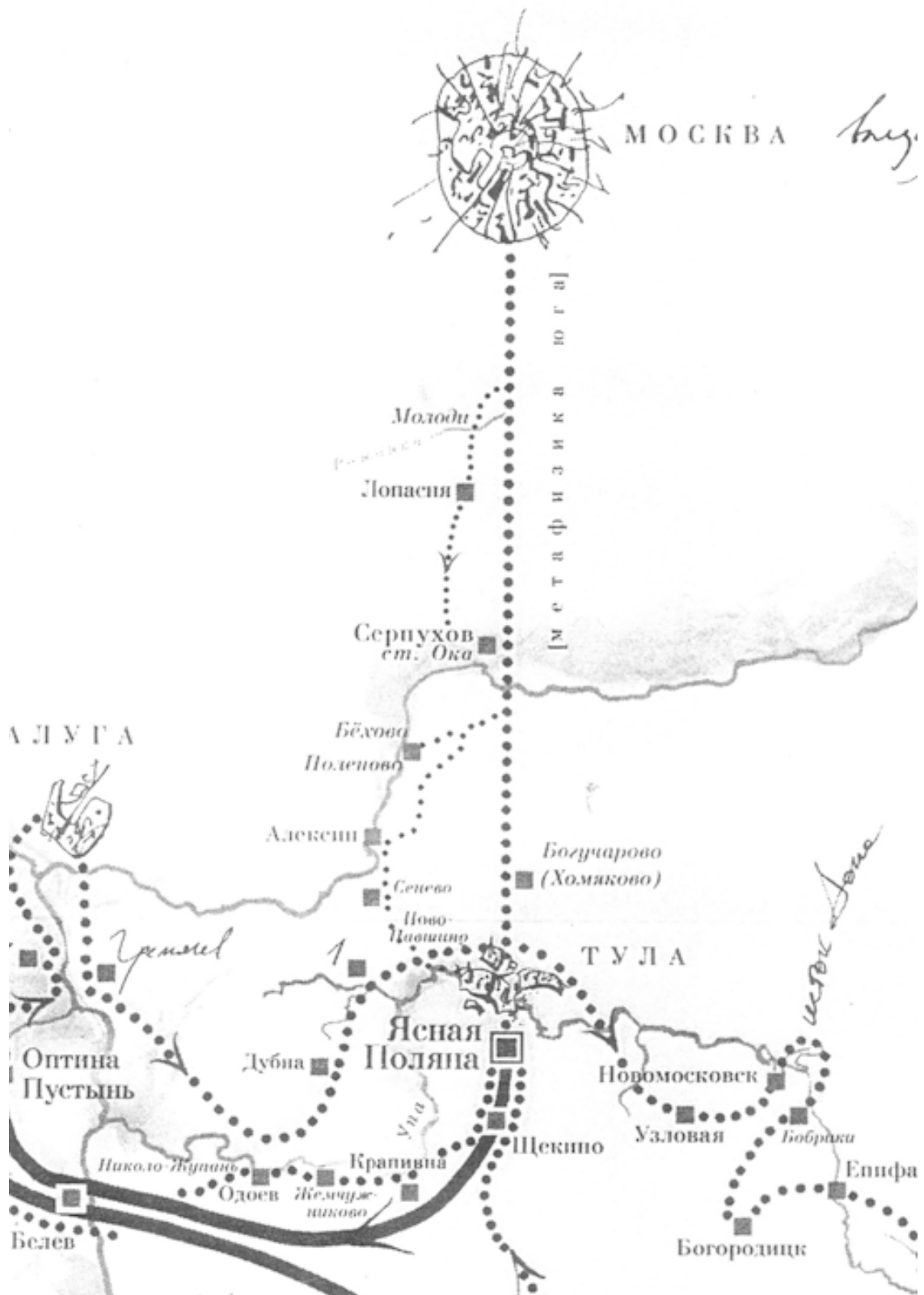


Предречение
9 ноября
Москва – Ясная Поляна

*Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь, и в дальний путь
Отправился пешком.*
Даниил Хармс

**Лев Толстой и его последнее странствие. Архитектор, Краевед
и Директор Музея. Битва при Молоди – забытая победа.
Славянофилы и западники, а также прозванный гений Лесков**

[последний маршрут Тол



В великой русской литературе всё очень продуманно. Более того, всякий писатель, если он, конечно, настоящий русский писатель, сначала сообщает что-нибудь, а потом уже исполняет это в своей жизни. Напишет Пушкин про дуэль – и пожалуйте бриться, вот его уже везут на Мойку с пулей в животе. Как начнет писать человек про самоубийство героя, так, натурально, скоро найдут писателя совсем неживым, а рядом записка: страна не зарыдаёт обо мне, но обо мне товарищи заплачут.

Толстой – великий русский писатель, и поэтому он честно сообщил, что уйдёт из дома. Причём он постоянно сообщал об этом – в разное время и разными способами.

К примеру, он заводил рассказ: слушай, читатель, историю про кавалергарда. Но все эти белые лосины, аксельбанты и ордена – только прелюдия к тому, чтобы перешагнуть порог.

И так ловко начинал, так продолжал, что ты понимал, что иного выбора, кроме как выйти из дома, нет. А через некоторое время ты ловил себя на том, что сам стоишь на пыльной дороге и давно следишь за тем, как по ней идёт человек с бородой. И идёт он с двумя старушками и солдатом, одетый так же, как и они, в неброское и пыльное. Не можешь оторваться, пока не дочитаешь этой последней сцены, где едут на шарабане барыня с каким-то путешественником-французом и всматриваются в *les pèlerins*, то есть странников, которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

– *Demandez leur*, – говорит француз, – *s'ils sont bien surs de ce que leur pelerinage est agréable à Dieu*¹.

Старушки, которым переводят вопрос, отвечают:

– Как Бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?

Спрашивают солдата, и он говорит, что один, деться некуда.

Спросили и старика, но уже о другом: дескать, кто он?

– Раб Божий.

– *Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas*².

– *Il dit qu'il est un serviteur de Dieu*³.

– *Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie*?⁴

Итак, старика принимают за сына священника и замечают, что чувствуется порода. После чего всем раздают по двадцать копеек.

– *Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé; чай, чай, – pour vous, mon vieux*⁵, – говорит француз и треплет рукой в перчатке старика по плечу.

– Спаси Христос, – отвечает тот, о свечах вовсе не думая.

Шапки на нём нет, и он лыс.

Как настоящий даос, старик чувствует равнодушие к этой ситуации. Через девять месяцев его поймают и сошлют в Сибирь как беспаспортного. Там он будет работать у хозяина в огороде и ходить за больными.

Но это всё в идеале. Это такая мечта, как надо уйти, записанная за двадцать лет до попытки.

Есть у Толстого и другая история по этому поводу – пьеса «И свет во тьме светит». Это, собственно, рассказ про то, как неловко и болезненно желание жить не по лжи. Как сопротивляются ему люди, и как мало оно приносит счастья. Главным героем в этой пьесе был сам

¹ Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно Богу. (*фр.*)

² Что он сказал? Он не отвечает. (*фр.*)

³ Он сказал, что он слуга Божий. (*фр.*)

⁴ Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь? (*фр.*)

⁵ Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем... вам, дедушка. (*фр.*)

Толстой, впрочем, под именем Николая Ивановича. Николай Иванович собирается бежать из дома вместе со своим бывшим слугой Александром Петровичем.

Этот Александр Петрович уже бормочет: «Будьте спокойны, пройдем до Кавказа без гроша. А там уж вы устраивайте». Герой отвечает ему: «До Тулы доедем, а там пойдем. Ну, всё готово». Но ничего оказывается не готово, беглеца останавливают, и он возвращается в привычный ад, где лодка убеждений бьётся о каменный берег быта.

– *Renvoyez au moins cet homme. Je ne veux pas qu'il soit témoin de cette conversation*⁶, – говорит его жена, и понятливый Александр Петрович отвечает: «Компрене. Тужер муа парте»⁷.

В общем, это какое-то проговаривание давнего плана, а не сцена.

Мало того, что знаменитый человек собирается убежать из дома, так ещё рассказывает об этом городу и миру предварительно. Рассказывает, замечу, с помощью типографии и театрального искусства.

Но русская дорога и есть такая вещь, что обычным правилам не подчиняется, и люди, отправившиеся по ней в путь, часто прощаются с прежним строем мыслей.

Всё началось с того, что мне позвонил Архитектор. Жизнь моя была негуста, и я был рад каждому звонку, а тут – целый Архитектор. Он был не просто Архитектор, а надзирающий за устойчивостью.

Его занимало взаимное расположение маленьких предметов и движение словесных материков. Он делал открытие за открытием и создавал особое, не географическое, а географическо-поэтическое, пространство вокруг себя.

Он был, конечно, настоящий архитектор, но, как всегда в России, оказался чем-то бóльшим. Он придумал, как связать такие непрочные понятия, как слово, уносимое ветром, и быстро меняющуюся географическую карту. Он придал всему этому остойчивость, как кораблю, и пустился в путешествие.

А однажды Архитектор придумал, что весь строй романа «Война и мир» именно таков, каков есть, только потому, что этот роман пишет не Толстой, а его герой Пьер Безухов, поминутно расправляясь с собственными комплексами, обидами, что нанесли ему другие персонажи, плохо скрывая ревность к прошлому своей жены.

При этом он вёл путевой журнал, огромное повествование с иллюстрациями, откуда можно было выдрать страницу и, засунув в бутылку, кинуть в море.

Это оказалось невиданной продуктивности путешествие длиною в жизнь, потому что странник подмечал все детали. Он заглядывал в окна к знаменитым писателям, смотрел, как ложится их почерк на белый лист. Он смотрел на пейзаж глазами Карамзина, Толстого и Чехова и позволял читателю тоже поглядеть в дорожное окно кибитки или поезда.

А литература наша, будто земная кора, подвижна и текуча, она сама скользит по глубинному океану, а к тому же по ней можно плыть, по берегам её передвигаться – разными способами, с разной степенью риска.

Специалист по устойчивости был ещё и великим иллюстратором – не только других, но и себя самого, удивительным образом возвращаясь к тому времени, когда путевой отчёт пестрел рисунками.

Надо сказать, что все хорошие путешественники понимают толк в изобразительном искусстве. Так повелось ещё с тех пор, когда не существовало фотографии, и рисунок в путевом журнале был одним из главных свидетельств о том, как устроен мир за горизонтом. В

⁶ Вышлите, по крайней мере, этого человека. Я не хочу, чтобы он был свидетелем этого разговора. (*фр.*)

⁷ Толстой Л. И свет во тьме светит // Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1935–1958. Т. 31. С. 240.

хорошо подготовленных экспедициях всегда был штатный художник – для фиксации чужих берегов и плясок туземцев.

А надзирающий за устойчивостью зарисовывал слова.

Мы путешествовали с ним и раньше.

На наших остановках, когда мы вываливались из автобуса, как усталые матросы, он был похож на капитана, ступившего на берег. Земля вокруг нас была оснащена людскими постройками, фонарями и табличками, но рядом с нашим предводителем она закручивалась спиралью, разбиралась и вновь собиралась, но теперь правильным образом. Архитектор не приказывал, а предлагал сделать несколько шагов, и вдруг за рощицей у бензоколонки обнаруживалось истинное облако, озеро, башня.

Он как-то заметил: «Я – художник. Я не стремлюсь издать написанную книгу. Для меня важна экспедиция». Вот оно, нужное слово! Экспедиция! Именно слово «экспедиция» – в том самом значении, в каком его употребляет Даль: «посылка, отправка кого вдаль, и самая поездка, для учёных и других исследований». Иногда кажется, что в путешествиях прошлого и приключенческих романах главные люди – те, что движутся по свету с оружием, отдают приказы и распоряжаются командой. Нет, главный человек экспедиции движется с подзорной трубой или лупой, как Паганель. Именно он придаёт экспедиции смысл. Если вспомнить знаменитый роман, то именно Паганель видит то, что не замечают другие.

Но дело было ещё и в том, что Надзирающий за устойчивостью был поэтом, отправившимся в путешествие. К его текстам вполне был применим мандельштамовский оборот: «Орнамент строфичен. Узор строчковат», мысль была графична. Ведь вокруг путешественника постоянно меняется пейзаж, а его перемена всегда вызывает сравнение. А сравнение вызывает к жизни метафору.

Итак, этот человек позвонил мне и сразу же задал странный вопрос.

Архитектор спросил меня, как я отношусь к Толстому.

Я задумался и начал открывать и закрывать рот, как обычно это делают рыбы. Вопрос был велик, а ответ не сочинялся.

– Так вот, – продолжил Архитектор, – давай поедем в Астапово.

– И умрём там? – с надеждой спросил я.

Он замолчал. Видимо, эта мысль ему в голову не приходила. Он вообще был человек бесстрашный.

Но вот он продолжил, не ответив на этот вопрос, точь-в-точь как когда-то генералиссимус, для которого разговор о жизни и смерти был слишком мелок:

– Ещё Краевед поедет. И Директор.

Звучало это очень привлекательно, ведь русского писателя хлебом не корми, дай куда-нибудь поехать.

Хлебом его и так не кормят, живёт он под забором, ходит во вчерашних носках, а в дороге все эти обстоятельства как-то извинительны.

Опять же, Гоголь велел русскому писателю проездиться по России, а глагол этот сродни «проиграться» и «протратиться», не говоря уж о прочем.

Какой-то весёлый порок в этих словах.

А в путешествиях всё зависит от компании едва ли не больше, чем от транспорта.

Компания определяет всё.

Одно и то же открытие, вернее рассказ о нём, выглядит совершенно по-разному, если читатель видит горные склоны, залитые весенним солнцем, по которым движется энтомолог. Безумный энтомолог ловит бабочек на горных склонах один.

Совсем иной рассказ возникает, если за ним тащится жена и печально вздыхает.

Третья повесть будет написана, если компания пьяных энтомологов лениво ловит бабочек и поёт песни у костра.

Вовсе по-другому выглядит роман, в котором энтомологи нанимают спутников-шерпов, и те молча присутствуют в их беседах.

Я, кстати, много лет изучал вопрос, какие компании выживают в путешествии и достигают конечного пункта не рассорившись. Это довольно сложно, но постижимо. Результат, разумеется, меняется в зависимости от количества людей, от вида транспорта и от срока поездки.

Цель, достижимая городским транспортом, вообще ни к чему никого не обязывает. Раньше, правда, существовал ночной барьер, тот час, когда метрополитен превращался в механическую тыкву. Но теперь бежать из гостей можно не так задорого.

А вот, наоборот, тайга в районе Северобайкальска обязывает ко многому. Долгая дорога в поезде вынуждает компанию биться по четыре, согласно местам купе. Если нужно добраться до того же Северобайкальска, то это принципиально.

Две пары гармоничнее трёх разнополых путешественников.

И уж вовсе особая политика, тонкие нити психологических связей возникают, когда движутся недавно познакомившиеся люди. Другое дело – старые друзья. Но другое не значит, что лучшее.

Например, старые друзья собрались на пару дней в какую-нибудь Рязань. И один из них взял с собой новоприобретённую знакомую – это одно. А если собрались две супружеские пары – другое. Наконец, вот пошли на байдарках друзья, а промеж ними оказалась любительница комфорта, ничейная и требовательная.

Самое страшное в путешествии – люди, что хотят чуда. Они вырвались в странствие из обыденной жизни, не хотят возвращаться в прежнее и желают преображения.

В фильмах тому чаще всего служит любовная история. Но кинематограф предполагает, что герои сперва ругаются, но потом обязательно целуются в диафрагму. В жизни же попутчики ограничиваются только первой частью плана. И разочаровываются, конечно, потому что возвращаются всё в ту же обыденную жизнь – с опытом ссоры, от которого нельзя убежать. Те, кто хотят чуда, не понимают, что его нельзя ждать, и обижаются на спутников за его отсутствие.

Всегда кто-то будет виноват. Голливуд давно расписал попутчиков по ролям: пара любовников, комическая пара любовников, фрик и собака.

Главное, чтобы был продуман процесс принятия решений.

Я помню, каким ужасом оборачивались прогулки по незнакомым городам разношёрстных компаний, когда они пытались выбрать ресторан. Сколько нервов было порвано в поисках компромисса.

Правда, разумные люди всё же бывают, хоть и мимикрируют под обыкновенных.

Хотя что-то можно заметить и раньше, чем сделаешь человека попутчиком.

Как-то примериться.

Прикинуть, каков он на вкус.

Бывало, рассудительные люди брали попутчика в дорогу, чтобы просто пообедать.

Итак, предложение было сделано: Директор Музея, Краевед и Архитектор звали меня в путь. Идея была прекрасна: проехать тем непонятным и обречённым путём, каким двинулся Толстой из Ясной Поляны, и добраться по крайней мере до Астапова. Ну и не умереть.

Не надо думать, что это кокетство. Когда примеряешь на себя чужую судьбу, то это не проходит бесследно. Сколько про это ни говорили, а всё равно удивляешься тому, как разные люди, что кормятся на покойных писателях, становятся похожи на своих кормильцев. Достоевскоеды – сплошь, правда, западники и, получив обильные гранты, сразу шмыг в какой-нибудь Баден-Баден. Толстознатцы – народ отчего-то сильно пьющий, оттого я часто видел их босыми в Ясной Поляне. И пришвиноведов я тоже хорошо представляю: знал двоих. Они

умеренно-православны, с расчёсанными бородками и ценят плетение словес и поход по грибы в сентябре. Шукшинолюбы всё нороят в нетрезвом виде заехать кому-то по морде. Цветаеведки – пьющие женщины, закусывают рябиной и склонны к лесбиянству. Набоковеды – аристократы, собственный снобизм считающие своим главным талантом. Для того чтобы писать про Маяковского, сначала нужно побрить голову, влюбиться безнадежно... О специалисте по Абельяру я стыдливо умолчу.

Друг мой Критик был известным специалистом по Горькому и автором множества работ, оттого отпустил чёрные вислые усы. Он был Горький, если не принимать во внимание его рост. Я стал писать об одном лысом формалисте и тут же облысел.

Поэтому путешествие тем путём, в конце которого герой наш умер, не развлекательная прогулка.

Я, правда, надеялся, что четвером мы справимся с этим без особых потерь.

И чудо было явлено в самом начале: мы сразу же соединились в единое целое, будто детали затвора.

Через пару дней я осознал себя стоящим около маленького автобуса в странной местности за Киевским вокзалом, где с одной стороны – величие сталинского ампира, красота лепнины и основательность былых времен, а с другой стороны грохочут поезда и лязгают железнодорожные механизмы.

Я ждал попутчиков и немного волновался: уходя из дома, всегда думаешь о том, что забыл. Отправляясь в странствие, ты понимаешь, что уже не вернешься прежним и тебя старого всё равно немного жаль. Рвётся какая-то невидимая пуповина, и параноик-путешественник навряд ли меня всегда страдает, взял ли он казённую подорожную, если таковая имелась, не забыл ли где, как Ийон Тихий, любимого перочинного ножика, не осталась ли на подзеркальнице бритва.

Настоящий сюжет начинается в тот момент, когда всё оставлено, забыто и никакой надежды обрести этот скарб нет. У Василия Аксёнова есть рассказ про искусственный глаз его отца – я вообще-то считаю, это лучшее, что написал Аксёнов, но это так, к слову.

Этот глаз остается в стакане, когда отца уводят, – он арестован, а глаз остался на свободе. Потом человек без глаза скитается где-то, как дервиш, потом, добравшись до родного города, спит. Он спит, а в стакане, как мокрый водоплавающий зверь, сидит его глаз.

Шкловский, когда писал большую книгу о Толстом, мимоходом обмолвился о древнем романе, который обычно построен на возвращении. Герой всегда прав, потому что возвращается. Немало он стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, немало проездился по Руси и окрестностям, и не было у него горше печалей, чем быть от дома вдалеке. Он входит в дом и, разумеется, с размаху бьётся лбом в притолоку.

Дело в том, что он подрос за время странствия.

Он помнил, что в юности проходил через эту дверь не нагибаясь, а теперь стал выше.

И вот я впрок, с размаху, стукнулся лбом об автомобильное железо над дверцей. Вздыхнул и, отдуваясь, как жаба, полез внутрь поместительного автомобиля, пристроился там сзади и стал ждать, когда мы поедем.

Там уже сидел Краевед.

Краеведа я уважал: через сто лет на маленьких деревенских церквях где-нибудь в глубине России будут висеть таблички: «Про этот храм Краевед ни разу ничего не сказал». Я вполне допускаю, что таких церквей всё же обнаружится не одна, а две.

Краевед был человек деликатный. Любви в нем было столько, что он жалел мёртвые камни, и камни от этого как-то приободрялись.

По дороге мы выбрали Директора Музея. Директор был кругл (но не круглее меня), бородат и похож на пирата с серьгой в ухе. Есть такие люди: взглянешь в них и сразу понимаешь, что это начальник.

Я и сам как-то приходил в его музей. Там белели колонны, журчали фонтаны, слонялись по дорожкам брачующиеся, женихи затравленно озирались, а худосочные невесты с завистью смотрели на круглые перси греческих богинь. Да что там персики – арбузные груди нависали над парковыми дорожками.

Друзья мои давно состоялись в своих занятиях и были даже знамениты, будто выдуманные французом мушкетёры.

Но эта история не про былые века.

Это история про Путь и Шествие – название я украл у собственной, уже написанной книги, но с совершенно другим сюжетом. И теперь надо было заставить себя написать историю пути Толстого из Ясной Поляны и шествия моих друзей по этому остывшему следу в промозгом ноябре.

Дорога была пасмурной и бессонной. Я думал о соотнесении себя с Толстым. Подобно тому как шпион Штирлиц постепенно становится немцем, всякий идущий толстовским следом превращается в доктора Маковицкого, что записывает историю.

Со времени изобретения туризма у нас особое отношение к путевым отчётам.

Доступность путешествия привела к девальвации взгляда в окно, обесцениванию фотографии чужого города и однотипности воспоминаний о дороге.

Продолжить можно цитатой: «Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: “Позвольте представиться, – сказал попутчик мой без улыбки, – моя фамилия N.”». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», – закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям ещё горели или уже зажглись окна в отдельных домах... Вот звон путеводной ноты»⁸. Для Набокова путешествие было перемещением, он вообще застал этот аристократический обряд в детстве: матроска, берег Ниццы, крахмальные скатерти в купе и шезлонг на палубе парохода.

А вот мы все – в другой эпохе.

Но более того, мы в другой эпохе по отношению к великой русской литературе.

Эта литература совершенна и совершена. Мы идём по её следу.

Архитектор гнал меня в путь за связью литературы с географией, а перемещения – со стилем, способом высказывания.

Он говорил, подпрыгивая на сиденье:

– Сейчас Россия «ездит» так, как хочет. Свобода зрения – обозрения себя изнутри и снаружи – должна сказаться. Это одно из немногих завоеваний новейшей России, которыми мы можем пользоваться и гордиться. Сейчас «слово» немного растерянно. Оно склонно к англицизму. Я надеюсь, что русский язык распространится именно потому, что у нас есть возможность путешествовать...

Главное, что было у Архитектора, – свой, незаёмный взгляд путешественника на географию литературы. Краевед же был больше смотрящим за Москвой и сопредельными землями. Он написал книгу про Москву, книгу, которая сразу стала знаменитой.

Впрочем, писал он её всю предыдущую жизнь. Я давно наблюдал, как из разрозненных заметок, из наблюдений, сделанных в путешествиях и просто прогулках, через статьи в газетах и журналах, где мысль формализовалась, из экскурсий и докладов, когда она проговаривалась и проверялась на слух, получалась эта книга. Текст был такой же живой, как и сама Москва, – в нём что-то достраивалось, переделывалось, дописывалось и, кажется, продолжалось по сей день. Это была смесь путеводителя, книги для чтения по истории и, наконец, философского

⁸ Набоков В. Другие берега // Собрание сочинений русского периода: в 5 т. Т. 5. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 123.

трактата. И это была своего рода поэма, потому что автор бормотал: «Китай и Китеж слиты в образе Покровского собора-города. Собор и в самом деле восстаёт как Китеж – кремль кремлей, географически сторонний неподвижный центр, – а не так, как может восставать Посад на Кремль Москвы». Московские здания там оказались связаны со всей культурой разом – от городского камня автор плавно переходил к живописи, к литературе или к национальной философии.

– Творение столпа – столпотворение, – говорил Краевед. – Нерв этой темы в том, что всякое столпотворение способно оказаться вавилонским, и в том, что после Вавилона решимость на столпотворение есть опыт снятия проклятия Вавилона...

Краевед со всеми его проборматовываниями и почти пением о городских камнях был чуть ли не религиозен. (Собственно, он и был по-настоящему религиозен – не чета мне, в ком размышления о Боге были предметом умствования и следствием начитанности.) Архитектор – литераторен в своём вращении вокруг метафор, построенных на географических терминах и геометрии. Или, иначе говоря, «землемерии». Например, в этом повествовании очень важно было понятие «меридиан», и все путешествия писателей и их героев оцениваются с точки зрения геометрических и географических аллюзий.

И вот мы ехали в стальной коробочке, а мимо нас проносились разросшаяся Москва. Мы лезли вперёд сквозь хмурый ноябрь без снега и дождя.

Архитектор всё время возвращался к идее нулевого меридиана русской культуры и литературы – воображаемой оси, проходящей через Москву с севера на юг. Все тексты и жизни он рассматривал, отправляясь от того, как относительно этой оси двигался автор. Как-то мы обсуждали историю с переводом Библии на русский язык.

– Перевод Библии на русский язык, – говорил Архитектор, – был инициирован Александром ещё до войны, в ходе естественным образом идущих преобразований нового царствования.

Директор Музея кивал и прихлёбывал из своей фляжки, а Архитектор продолжал:

– Не англичане со своим «Библейским обществом», как полагают многие, тому способствовали, скорее, казённая (именно так) логика действий нового правительства. От создания в тысяча восемьсот втором году системы министерств до преобразования в целом всего народного просвещения (также впервые в истории обзаведшегося собственным ведомством) дела российские выстраивались согласно общеевропейскому образцу. В этой логике совершались реформы и в образовании духовном. Не ставилось особой цели перевода Священного Писания, тем более не рассматривалось историческое значение этой акции, но переустроивалась Александрово-Невская академия, с тысяча восемьсот девятого года она становилась Санкт-Петербургской, и в ней вводилась целостная программа обучения со стандартным набором предметов, системой экзаменов и защит выпускников.

До того образование в Академии строилось «от преподавателя», определяющего всякий курс по своему усмотрению. Теперь возобладала логика, которую в данном случае, без выставления плюса или минуса, можно определить как казённую. Петербургскую, «кубическую», равнонаправленную на всех учащихся.

Стандартному заведению по умолчанию требовался перевод Священного Писания на национальном языке: такова была европейская практика. Ректором реформированной Академии был назначен Филарет (Дроздов), в тот момент начинавший свою выдающуюся церковную карьеру. Не уверен, что задача перевода именно им была замыслена – скорее, задание было принесено ему на стол уже указанным казённым током. До того переводились по частным случаям фрагменты Писания, теперь понадобился общий перевод. Дело перевода Библии было принято, таким образом, к производству, однако возникло сопротивление – уже не бумажное,

но живое: всё, что было связано с преобразованием языка, было тогда предметом заинтересованной политической баталии⁹.

– Мы говорим, – пояснил Директор Музея, увидев мои пустые глаза, – об историческом движении от церковнославянского перевода к синодальному тексту. Вот мы про что...

На эту историю, как на гриф штанги, они накручивали множество дополнительных историй и смыслов – и заодно географических движений.

Я несколько скептически относился ко многим найденным моими спутниками сближениям, географические и литературные метафоры часто казались мне неверными – так, решительно мне не нравился отысканный ими несколько лет назад в каком-то стороннем, непонятном месте Чевенгур.

Самые удачные из книг о путешествиях – те, что вызывают желание повторить путь, а потом создают традицию. Я знаю несколько таких: это рассказ Джойса о том, как по Дублину бежит маленький человек-неудачник, роман Булгакова, в котором неудачник бежит по Москве от Тверской до Остоженки, «Москва – Петушки»; говорят, у американцев такое же отношение к роману Керуака *“On the Road”*.

В России к путешествиям отношение особое: для русского человека это несколько опасное, чуть не героическое мероприятие. Не всякий высунет из дома нос по своей воле. Оттого путешествовать по страницам куда привычнее, чем путешествовать с книгой под мышкой.

В некогда знаменитом романе «Альтист Данилов» весь сюжет повязан с Останкином, и местные жители прогуливали заезжих барышень по описанным в книге маршрутам. Но это всё же не массовое явление. Количество путешественников из Петербурга в Москву обильно, но я слышу больше проклятий запруженной трассе, чем восторга культурных туристов, что норовят осмотреть описанные Радищевым путевые станции.

Книги эти имеют разный вес, но путешествия вообще вещь загадочная, и оттого странник всегда оказывается в положении купца, что отправился за аленьким цветочком.

Когда пишут о путешествии, то вечно ошибаются: собираются сказать одно, а выходит другое. Чудище ужасное превращается в принца и наоборот.

Есть похожая история с одной английской книгой.

Джером К. Джером написал свою знаменитую книгу о путешествии четверых мудрецов в утлом челне случайно.

Он собирался писать путеводитель по Темзе – путеводитель с исторической подоплёкой. Джером отправился тогда в свадебное путешествие; ему было лет тридцать, его жене столько же. Он был счастлив и, вернувшись, решил написать «Историю Темзы». Но путешествие увело его в сторону, получился роман, а не путеводитель.

Потом он всё же вставил исторические и прочие детали. Большую часть вставок издатель выкинул, но внимательный читатель их видит: «И вот смотрите! По дороге, что вьётся вдоль берега от Стэйнса, к нам направляются, смеясь и разговаривая гортанным басом, около десяти дюжих мужчин с алебардами – это люди баронов; они остановились ярдов на сто выше нас на противоположном берегу и, опершись о своё оружие, стали ждать. И каждый час по дороге подходят всё новые группы и отряды воинов – в их шлемах и латах отражаются длинные косые лучи утреннего солнца, – пока вся дорога, насколько видит глаз, не кажется плотно забитой блестящим оружием и пляшущими конями. Всадники скачут от одной группы к другой, небольшие знамёна лениво трепещут на тёплом ветерке, и время от времени происходит движение – ряды раздвигаются, и кто-нибудь из великих баронов, окружённый свитой оруженосцев, проезжает на боевом коне, чтобы занять своё место во главе своих крепостных и вассалов...

⁹ См.: Балдин А. Протяжение точки. М.: Эксмо, 2009. С. 283–284.

А вся река до самого Стэйнса усеяна чёрными точками лодок, и лодочек, и крохотных плетушек, обтянутых кожей, – последние теперь не в моде, и они в ходу только у очень бедных людей. Через пороги, там, где много лет спустя будет построен красивый шлюз Бел Уир, их тащили и тянули сильные гребцы, а теперь они подплывают как можно ближе, насколько у них хватает смелости, к большим крытым лодкам, которые стоят наготове, чтобы перевезти короля Иоанна к месту, где роковая хартия ждет его подписи»¹⁰.

Эта цитата похожа на руину. Был прежний замысел – и это, быть может, самый большой его фрагмент. Напоминание, во что должна была превратиться эта книга. А превратилась она по неодолимой воле путешествия в историю трёх разгильдяев и собаки сложной судьбы.

Про руины исторического путеводителя внутри живого романа много спорят: одни их считают натужными, другие же говорят, что с ними знаменитая книга о речном путешествии выглядит более живой.

Мне кажется, наоборот, живой она стала из-за иронии и сюжета, а вставки тут сами по себе.

Однако ж делу не мешают.

«Так-то, сударь», – произносит собеседник со вздохом.

Вот он, звон путеводной ноты, – между двух огней, между раздражением и восторгом.

А пока звенел на низкой ноте мотор, и машина уверенно шла на юг.

Мы остановились в Молоди.

Места, где умерло много людей, всегда мистические. То есть я считаю, что, где и одного человека зарезали, всё ж место странное, неловкое для жизни и будоражащее, но уж где сто тысяч положили – и вовсе обывателю тревожно.

А тут, у Лопасни и на Рожайке, перебили не то сто, не то полста тысяч крымских татар, шедших на Москву. В цифрах источники начинают путаться – на радость любителям нулей.

Надо сказать, что это классическое сражение русской армии.

Во-первых, оно выиграно русскими по законам воинского искусства, не абы как, а по уму.

Во-вторых, оно надолго определило географию соседних стран.

В-третьих, не прошло и года с битвы при Молодах, как Михаила Ивановича Воротынского, который, собственно, там и победил, взяли в оковы, пытали (причём, по легенде, сам Иван Грозный подсыпал ему угли к бокам и лично рвал бороду князя) и сослали в Кирилло-Белозерский монастырь. По дороге князь умер. Впрочем, об этом нам сообщает Курбский, а судить по нему о таких историях – всё равно что об истории Отечественной войны по Эренбургу.

Неясно, в общем, что стало с несчастным Воротынским, но уж явно ничего хорошего.

И наконец, в-четвёртых и в-крайних, битва эта забыта. Нет, видел я как-то в Молодах каких-то ряженных казаков и камуфлированный вермахт с русскими рожами, однако спроси кого на московской улице об этой подмосковной истории, плюнут тебе в бесстыжие глаза. Потому как утопление рыцарей в Чудском озере и Бородино известны нам по рекламе каких-то сухариков, по фильмам малой исторической достоверности и анекдотам, а вот разгром Девлет-Гирея в рекламе сухариков не освещён.

Краевед с Директором Музея ушли к церкви, Архитектор уткнулся в карту, а оторвавшись от неё, сурово посмотрел на меня.

– А вот скажи, – начал он, – есть ли какая-нибудь геофизическая аномалия, ведущая от Москвы строго на юг?

¹⁰ Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки // Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. С. 169.

Я нервно сглотнул, начал мычать и трясти головой. Ничего мне на ум не приходило. Поняв это, Архитектор мгновенно утратил ко мне интерес.

Тогда я сел на камушек и, набив трубку, принялся курить, озираясь вокруг.

Всё-таки место было непростое, и я вспоминал хоббитов, что шли через поля минувших битв, на которых не то росли особые цветы, не то и вовсе видели странное свечение.

Рассказывали мне, что здешняя усадьба принадлежала Сергею Герасимовичу Домашневу, другу братьев Орловых и военачальнику, что храбро дрался с турками.

Впрочем, потом он стал директором Петербургской Академии наук, в этой должности предшествовал княгине Екатерине Романовне Дашковой.

Говорили будто, что рабочие, ремонтировавшие Воскресенскую церковь, совсем недавно извлекли из фамильной усыпальницы довольно массивный скелет, но священник рассказывал, что этот остов уже перезахоронили. А деревянные детали гроба тут же рассыпались в руках свидетелей.

Остался от бывшего величия, кроме церкви, лишь парк с прудами.

Парк и пруды и впрямь были хороши, но уже наступали на них дачники. А отечественные дачники куда страшнее крымских татар, и отбиться от них попросту невозможно.

С этим я залез в машину, приложился к фляжке и заснул в своём углу.

Я дремал, и мне виделись давние случайные путешествия с друзьями.

Вот мы едем в Мураново. Мы едем туда, и раз за разом музей оказывается закрыт, и сокровища Боратынского и Тютчева остаются не исследованы. За забором блеют крохотные козы, дёргая кургузыми хвостиками. Пруд воспет Боратынским, но никто из нас не помнит этого стихотворения, а грязная гладь не манит купаться.

Близ музея мы нашли Святой источник, где рядом с фонтанирующей трубой стояла купальня – маленький бревенчатый домик, похожий на баню. Товарищи мои да и я сам решили смыть грехи и, накинув на дверь крючок, полезли в воду. Вода была мутно-белой и, казалось, размышляла: сейчас ей подёрнуться ледком или же подождать первых заморозков.

За неимением более подходящего места я процитировал свою любимую фразу, что написал, правда по-французски, Федор Иванович: «Всё, что ты мне говоришь в последнем письме о живительной силе, которую черпает душа в сознательном смирении, идущем от ума, конечно, весьма справедливо, но что до меня, то, признаюсь тебе, я не в силах смириться с твоим смирением, и, вполне восхищаясь прекрасной мыслью Жуковского, который как-то сказал: “Есть в жизни много прекрасного и кроме счастья”, я не перестаю желать для тебя счастья...»¹¹ При этом то был зачин поздравления дочери с именинами. Хороший, надо сказать, зачин для поздравления.

Но ещё лучше он подходил ко мне, искавшему утешения в путешествиях.

А везде вокруг Муранова и Радонежа росли огромные борщевики, похожие на бамбук, – вдвое выше человеческого роста, они подтверждали святость воды. Место было действительно необычное: по дороге то и дело фланировали парами карлики, будто встал на постой рядом цирк лилипутов. Цокая копытами, прошла одинокая лошадь. Лежал скелет автомобиля – сквозь него тоже пророс борщевик.

Ночь упала на русскую землю, и мы принялись прятаться от неё в придорожных ресторанах, где оттягивались после рабочего дня плечевые и дистанционные, где звучала армянская речь и угрюмо гавкали собаки, неестественно разбросав лапы по земле.

Все искали своего счастья или чего-нибудь прекрасного кроме него.

Ночь тогда длилась, мы ехали дальше, а в спину нам борщевики-борщевники трясли своими сложными зонтиками и гудели полыми трубками стеблей.

¹¹ Тютчев Ф. – Тютчевой Е. от 25 ноября 1866 // Литературное наследство. Федор Иванович Тютчев. Книга первая. М.: Наука, 1988. С. 469.

Это странствие было совершено много лет назад, но ничего в русской дороге не меняется: ухаб на прежнем месте, лужу обнаружишь там же, и всё так же будут торчать по обочинам борщевики, сбившиеся в стаи.

Я так увлекся этой мыслью о постоянстве пути, что совершенно не понял, как, каким образом вся наша компания оказалась в Богучарове.

Богучарово стояло уже на тульской земле, в пятнадцати километрах от её столицы.

Мои друзья переминались около странной колокольни.

– Клинкер, – сурово сказал Директор Музея. – Это клинкер¹².

Какой, к чёрту, клинкер, о чём это они? Спросонья я ничего не понимал. Оказалось, что они говорят о колокольне.

Я окончательно вернулся в реальность и вспомнил, что клинкер – это огнеупорный кирпич. Проверить я это не мог, а мог лишь поверить. Клинкер так клинкер.

Но кроме этого клинкера они стали упоминать и иную фамилию.

Это был Хомяков. Знаменитый славянофил Алексей Степанович Хомяков родился на Ордынке и был певцом слова «соборность». Запад он, ясное дело, не любил. Николай Лосский писал, что «в католицизме Хомяков находит единство без свободы, а в протестантстве – свободу без единства»¹³. Оттого Алексей Степанович носил большую бороду и ходил в старинном русском платье. А вот умер во время эпидемии холеры, когда помогал лечить крестьян.

Старинное русское платье и соборность – да, но именно с подачи Хомяковых итальянская кампанила стояла посреди русской земли.

Было понятно, что смотреть её надо как раз в такой день – не в жаркую погоду, сближающую её с Италией, а промозглой русской осенью или зимой.

Чувства примерно такие же, как если бы вы обнаружили на задворках разрушенной базы «Россельхозтехники», у бетонного раскрошенного забора, в окружении ржавых тракторов и комбайнов, настоящую египетскую пирамиду. Небольшую, но крепко сложенную. С коротким русским словом, написанным кем-то у основания.

Так и тут, на тульской земле, посреди жухлых листьев стояла итальянская башня.

Директор Музея заявил, что этот тип кампанилы распространён в славянских (по представлениям славянофилов) землях Адриатики. Заказчик поэтому и настоял на воспроизведении средиземноморского острия в своём имении – вслед своему отцу Хомяков-младший, строивший здесь, как бы напоминал о книгах отца. То есть намекал на то, что Венеция была основана венедами-славянами.

Звучало тут имя Суровецкого¹⁴, который утверждал, что адриатические венецы позднеантичных источников и одноимённые славянские племена бассейна Вислы – одно и то же. В умах это вызвало известное смятение, не успокоившееся до сих пор. Появление кампанилы посреди России становится естественным, если не обязательным.

Хорошая, кстати, была гипотеза. Даже слишком красивая и слишком многое объясняющая. Кто-то мне говорил, что где-то в Хорватии стоит точно такая же.

Но тут я разделяю себя-сочинителя и себя-свидетеля. Если б я написал роман про славянофилов (О! Если б я написал роман про славянофилов! Там, разумеется, были бы построенные ими магические кампанилы и башни Шухова, что возводили бы потом в пику славянофилам интернационалисты), то всё было бы иначе.

Я расшвыривал ногами палую листву и при этом рассказывал Краеведу про Хомякова, как тот в какой-то из статей, посвящённых «Севастопольским рассказам» Толстого, говорил,

¹² Клинкер, или клинкерный кирпич – особого типа кирпич из специального вида глины. Так же называют тугоплавкий кирпич. Клинкер получил своё название из-за высокого звука при постукивании одного кирпича о другой.

¹³ Лосский Н. История русской философии. М.: Академический проект, 2011. С. 87.

¹⁴ Суровецкий Лаврентий (1769–1827) – польский писатель, генеральный секретарь Министерства просвещения, автор работ по истории славянства в дохристианский период.

что на окраине Севастополя одни люди героически погибают на бастионах, а на другой окраине сидят за столами другие люди и проигрывают в карты казённое имущество. И, что самое страшное, этих людей можно поменять местами без ущерба для картины.

Но в этот момент Директор Музея, а он, как оказалось, шёл вслед за мной, вдруг произнёс:

– Бесстыдник.

Не сказать чтобы я был особо высокого о себе мнения, но как-то даже обиделся.

Но Директор повторил:

– Ты всё путаешь. Это Лесков. Рассказ «Бесстыдник». Не Хомяков, а Лесков. Там у него интендантский генерал учит боевого офицера...

И Директор наизусть (клянусь, что он помнил это всё наизусть!) процитировал: «Честные люди! Но я это и не оспариваю. Очень честные, только нельзя же так утверждать, что будто одни ваши честны, а другие бесчестны. Пустяки! Я за них заступаюсь!.. Я за всех русских стою!.. Да-с! Поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и геройски умирать; а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Пустяки-с! Неправедливо-с! Все люди русские, и все на долю свою имеем от своей богатой природы на всё сообразную способность. Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось – везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя там и покажем: умирать – так умирать, а красть – так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде – вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, вору, сражались и умирали, а вы бы... крали...»¹⁵

Мне утёрли нос. Но вот, кстати, думал я, продолжая дуться на самого себя и несправедливость, в этом рассказе Лесков как бы говорит нам: видите, каков генерал, сказал этакое и не краснеет. И читатель приглашается как бы разделить негодование. У придуманного же мной Хомякова была скорбная интонация «а ведь и правда, перемени их местами – ничего ровно не изменится».

Лесковский генерал говорил о том, что все представлены – к воровству ли, к геройству – начальством, а придуманный Хомяков скорбел, что всех тасует судьба, и от этого всё ещё более безнадежно.

Рассказ «Бесстыдник» всё же кое-кто подробно разбирал.

И был это Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Я смутно помнил, что писал Лихачёв про Лескова, хотя несколько раз его перечитывал.

Оставил у меня этот текст очень странное ощущение. Понятно, что Лихачёв пишет в далёком олимпийском году, в котором нам когда-то обещали коммунизм, но ограничились спортивными соревнованиями. Дело, разумеется, не в цензуре, а в особом умонастроении тех лет, которое накладывало проживание в идеологической стране, – все эти кивки в сторону «николаевского режима», «доносов» и прочее.

Дело в эстетике.

Текст называется «“Ложная” эстетическая оценка у Н. С. Лескова». Лесков, говорит Лихачёв, специально интригует читателя тем, что персонажи, включая рассказчика, соглашались с циничным взглядом героя-бесстыдника. Оттого «читателю кажется, что он, вопреки автору, даёт совершенно самостоятельную оценку случившемуся. Это своего рода сюжетная “ложная разгадка”, о которой писал Виктор Шкловский¹⁶, с тем только различием, что сюжет-

¹⁵ Лесков Н. Бесстыдник // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. М.: Экран, 1993. С. 113.

¹⁶ Шкловский В. О теории прозы. М.; Л., 1925. С. 105.

ная “ложная разгадка” у Виктора Шкловского затем исправляется самим автором, а ложную моральную оценку событиям исправляет читатель как бы самостоятельно»¹⁷.

Сюжетное ядро рассказа – это сцена, когда в одном «приличном обществе» бывший защитник Севастополя обнаруживает интенданта, разбогатевшего на войне, и в присутствии этого неприятного человека рассказчик громко возмущается воровством. Тогда интендант Анемподист Петрович ему отвечает словами, что наизусть процитировал Директор: «А если... всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...» Все присутствующие, среди которых многие во время войны рисковали жизнью, «пришли в ужасный восторг от его откровенности и закричали: “Браво, браво...”» Рассказчик после этого говорит: «Ну, понятно, я после такого урока осёкся со своей прытью и... откровенно вам скажу, нынче часто об этих бесстыжих речах вспоминаю и нахожу, что бесстыдник-то – чего доброго, – пожалуй, был и прав»¹⁸, тем всё и кончается.

Ну и дальше Лихачёв заключает: «Откровенно циничный взгляд признается правильным, хотя и с некоторым реверансом, признанием его правильным только “чего доброго”, но не безусловно...»

Читателю надо самому разобраться в аргументации “бесстыдника”...

Разобраться в этом не так уж, в конце концов, трудно. Во-первых, “бесстыдник” допускает совершенно явную логическую ошибку – преувеличение тезиса своего оппонента. Порфирий Никитич отнюдь не утверждал, что все русские люди делятся на героев и воров. Речь шла только о севастопольском войске, и то, я думаю, интендантов там было вовсе не половина, а едва двадцатая-тридцатая часть. Во-вторых же, тезис об оскорблении всех русских Порфирием Никитичем в условиях сохранявшегося ещё николаевского режима был откровенной политической провокацией. Порфирию Никитичу подобного рода обвинение угрожало арестом... Если со стороны интенданта циничная речь его была политической провокацией, то в плане литературном отождествление авторской точки зрения с точкой зрения интенданта следует рассматривать как провокативную мораль. Эта авторская “провокация” должна заставить читателя задуматься и не только не признавать этого высказывания, но прийти к прямо противоположным выводам: отвергнуть и тезис интенданта, и всю систему, порождающую такое лёгкое и “мундирное” поведение»¹⁹.

Лихачёвым в этом случае движет нравственное начало, то есть некая гуманистическая концепция, свойственная нашей классической литературе, в которой зло должно быть наказано, а правда всенепременно восторжествует. И писатель в ней – проповедник нравственного начала, однако при всей верности этого для литературы прошлого писатели классического толка нет-нет да и обнаруживали вещи страшноватые и с неприятной наблюдательностью находили в человеке негуманные черты.

Для начала нужно сказать, что история с ответом коррумпированного интенданта у Лескова имеет важное обрамление. Рассказчик, бывший морской офицер, участвует в разговоре о том, какое влияние имеет море на образование характера человека, возвращающегося в его стихии. Разумеется, среди моряков море нашло себе довольно горячих апологетов, выходило, будто море едва ли не панацея от всех зол, современного обмеления чувств, мысли и характера.

Один бывший офицер замечает, что это очень хорошо. Значит, всё легко поправить: стоит только всех, кто на земле обмелел духом, посадить на корабли да вывести на море.

¹⁷ Лихачёв Д. «Ложная» эстетическая оценка у Н. С. Лескова // Избранные работы: в 3 т. Т. 3. Л.: Художественная литература, Ленинградское отделение. 1987. С. 323.

¹⁸ Лесков Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. С. 114.

¹⁹ Лихачёв Д. Избр. раб.: в 3 т. Т. 3. С. 320.

Ему возражают: «Да мы так не говорили: здесь шла речь о том, что море воспитывает постоянным обращением в морской жизни, а не то что взял человека, всунул его в морской мундир, так он сейчас и переменится. Разумеется, это, что вы выдумали, – невозможно».

Тут-то старик рассказывает о своей стычке с интендантом.

Лихачёву, комментировавшему рассказ, было очень важно отстоять свою веру в человека, потому что если прав интендант, если хотя бы на минуту допустить, что он прав, то какой же он – академик Лихачёв. Как у Достоевского капитан не может поверить в самого себя, когда Бога нет. И куда девать все прекрасные надежды на советского интеллигента, что подхватит пенсне интеллигента русского как знамя и во время перестройки (лет через пять по той шкале) возродит русскую культуру.

Лихачёв не разбирает рассказ Лескова, а пытается им иллюстрировать свою надежду, при этом подгоняет Лескова под неё. Но рассказ пружинит, не поддаётся и остаётся в итоге сам по себе.

Меж тем не через пять лет, а, к примеру, через десять после лихачёвских заметок начались особые времена и перед обывателем, что честно выращивал свою брюкву, встал выбор в виде старых коммунистов, что кричали о море, гладе и распаде страны, и демократов, иные из которых даже играли на гитаре задушевные песни Визбора. Коммунисты были неприятны, точь-в-точь как толстый интендант из рассказа Лескова, а условные демократы – вполне ничего себе.

Но, сопротивляясь выбору (или ещё не зная, что выбора никакого нет), обыватель спрашивал демократов: «Вот коммунисты говорят, что вы всё сопрёте, чтобы не произносить какого матерного слова. Не сопрёте, нет?» И демократы отвечали ему: «Да ты что! Как ты мог подумать! Мы вовсе не такие, потому что умеем плакать под Визбора, а некоторые из нас даже выучили в спецшколе английский язык».

И тут же всё спёрли.

Казалось бы, что я рассказал эту историю, чтобы подтвердить мысли неприятного циника-интенданта.

Вовсе нет.

Начался наш разговор у кампанилы со славянофильства, и недаром слово «славянофил» вполне западное по строению, а слово «западник» – вполне русское на слух, прямо хоть меняй их местами.

Но всё ещё интереснее: рассказ «Бесстыдник» 1858 года подводит нас к совершенно достоевской мысли года 1879-го о том, что поле битвы проходит через сердце каждого человека. Битвы добра со злом и всё такое. И обстоятельства в этом играют очень важную роль: в каждом человеке есть и звериное, и божественное начало, и обстоятельства могут выпустить зверя из клетки, а могут и не выпустить.

Более того, человек в беседах *entre chien et loup* может призвать дух много страдавшего писателя Шаламова, которой тоже изрядно наговорил о перемене мест и человеку посреди обстоятельств.

Из этого можно сделать и главный вывод: русская литература прекрасна, а Лесков – гений, которого все прозевали.

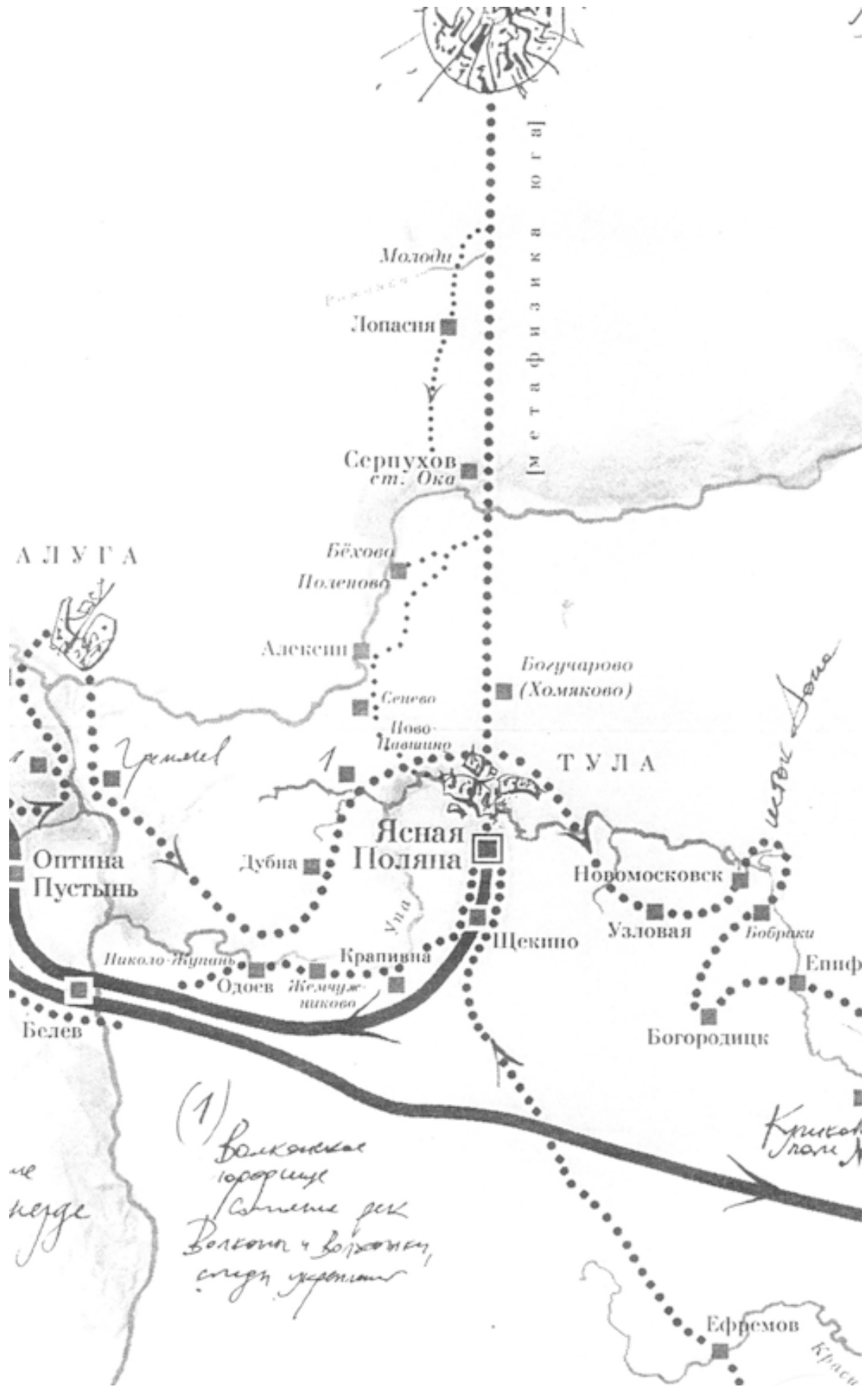
А вокруг нас была осень, начинало темнеть, в отдалении стоял дом, который не зажигал окон.

Дом был стар, облуплен, но крепок – с одной стороны в нём было почтовое отделение, где из стен торчал классицизм, чуть замазанный масляной краской.

С оборотной стороны жили люди, спала блохастая собака. Через лес виднелась какая-то циклопическая постройка, похожая на раскормленную новорусскую дачу.

Славянофильство было занесено палой листвой.

Листва занесла и обломки памятников, лишённые могил, оттого не страшные, а что-то вроде столбиков на детской площадке.



Ясная Полянка 9–10 ноября Заповедник

К источнику сходятся, но его и мутят!
Люций Сенека

Лев Толстой и Ясная Поляна. Отчего Заповедник всегда похож на монастырь. Братство и сестринство служителей заповедника и история Левина. Утро русского помещика перед дальней дорогой

Но вот мы продолжили путь и, объехав кругом Тулу, оказались в Ясной Поляне.

Я упал в кровать и намотал на голову, как наволочку, быстрый и короткий сон. Кажется, мне снилось, как я приехал сюда на поезде, в первом классе.

А ведь в Ясную Поляну и нужно приезжать на поезде.

Нет, можно, конечно, и на подводах, можно пешком, как ходили когда-то к старцу.

Но именно на поезде, а не на автобусе правильнее.

И первый раз, много лет назад, я тоже ехал туда на поезде. Стояла летняя дождливая пора, и Курский вокзал был полон хмурыми отпускниками. Электричка медленно подошла к перрону. На удивление, она оказалась набитой людьми, которые успели занять все места, столпиться в проходах, уставить багажные полки сумками и корзинами. Поезд шёл медленно, то и дело останавливаясь на полчаса посреди волнующихся на ветру кустов. Только за Ясногорском я увидел причину: на откосе валялись колёсные пары – и отдельно вагоны. Вагоны были товарные, грязные, с остатками цемента внутри.

Пассажиры сбегались на одну сторону – глядеть на изломанные шпалы и витые от аварии рельсы. Сбегались так, что я испугался, как бы электричка не составила компанию товарняку. Когда наконец я приехал в Тулу, то небо вдруг насупилось и внезапно пролился такой дождь, что казалось, будто там, наверху, кто-то вышиб доньшко огромного ведра. На секунду я задохнулся: в дожде не было просветов для воздуха. Очень хотелось прямо на глазах у прохожих, несомненно творцов автоматического оружия, стянуть с себя штаны и отжать их как половую тряпку. Так или иначе, я добрался до автостанции, где меня пустили в чадающий автобус, дали мне посидеть на переднем сиденье, откуда – по ветровому стеклу – было сразу видно, как прекращается дождь, подсыхают на ветру его капли, и вот он снова начинается...

Электричка ходила на Щёкино с тремя или четырьмя остановками только по выходным, зато останавливалась на станции Козлова Засека, что всего в паре километров от усадьбы.

По праздникам в окрестностях Заповедника ярко горела геройская звезда исчезнувшего социалистического труда. Эта звезда горела на груди у не сломленного в лефортовских застенках губернатора да и многим ещё освещала путь, даже мне, когда я приехал туда среди казённых людей. Тогда я (приехав на автобусе) был на открытии этой станции, где вывески на зданиях по новой моде крестились ятями. Порезав в клочки ленты и ленточки, выступали высокие железнодорожные и культурные лица. Электричка была вполне современная, да только когда стали говорить, что её вагоны оформлены по мотивам произведений Толстого, сразу представился вагон «Анна Каренина» с колёсами, покрашенными в красный цвет.

Там, в пристанционном музее, теперь можно поглядеть на телеграфные аппараты, дорожные чемоданы, фонари переносные, поглазеть на фонари уже чугунные и чугунные же оградки, а потом поехать на скрипучем автобусе в Заповедник.

Но это всё туризм, остальное – литература.

Той осенью, на открытии, вышел губернатор и произнес гениальную и совершенно косноязычную речь, где говорил про железнодорожное министерство транспорта и визит президента Китайской Республики. Президент приехал к нему, губернатору, а потом, оказалось, они вместе рыдали на могиле Толстого. Речь губернатора всё время срывалась в воспоминание, населённое танками, но в бытность свою в толстовских местах будущий губернатор не то что не мог представить себе военный переворот и арест, а даже, кажется, не был ещё героем труда. Итак, важные люди говорили, а вокруг гуляли ряженные дамы и офицеры, раскрыл свои крылья тарантас и, готовая к употреблению, была закопана между рельсами какая-то пиротехническая батарея.

Вдруг завершал паровоз, он, безусловно, был там главным оратором.

Крики паровоза разогнали тучи, а душное солнце начало сушить свежий дёрн и потную толпу.

Приехал и современный состав. Через несколько лет я и сам поехал на этом поезде – чопорный, как англичанин. Сел в кресло повышенной комфортности, вытащил заграничную оловянную рюмку и налил себе коньяку. Замелькали за окном московские окраины, сгустилась из коридора проводница и – фу-ты ну-ты! – включила повсеместно телевизоры. Начали мучиться умноженные на шесть экранов американцы, зарыдала в микрофон иностранная красавица о своей загубленной молодости, потом, невесть откуда взявшись, запел знаменитый русский болгарин-переросток.

Так всегда: отправишься путешествовать по-английски, с дорогим табаком в кисете, с английским чаем в банке, а ткнут тебе прямо в рыло какую-нибудь азиатчину, ударят над ухом в бубен, зачатят прямо в нос вонючие костры аборигенов.

Только в дороге начинаешь так искренне ненавидеть песни и пляски эстрадных упырей.

Приезжал я сюда на автобусе, прибывал на поезде, хорошо было бы достичь Ясной Поляны пешком, как полагается настоящему паломнику.

Но есть ещё особый тип путешествия, когда мужчина едет на автомобиле, но не за рулём. Когда машину ведёт женщина, её спутник интуитивно хочет понравиться и разливается соловьём.

Поэтому я стал придумывать себе идеальную спутницу.

Это будет небедная женщина, интеллигентная и самостоятельная. Важно, что это не женщина повышенной духовности, превзошедшая гуманитарные науки, – такая обидным смешком поставит спутника на место. Но это и не скучная собеседница, которой что мохер, что страдания русского интеллигента – всё немодно и скучно. Одним словом, идеальная спутница.

Пускай она повезёт меня до Ясной Поляны на своей машине.

Русский писатель – всегда нахлебник, особенно когда он попутчик.

Итак, мы едем среди родных полей и лесов, весело стучат дворники, размазывая дождь, а мы разговариваем о русской литературе.

– Всё же Толстой был странным писателем, неправильным и незаконным, – говорю я, пытаюсь стряхнуть пепел с сигареты в узкую щель над стеклом. – Вот Гоголь был правильный русский писатель, потому что был форменным сумасшедшим. Другие писатели как-то неумело симулировали своё сумасшествие, а Гоголь был настоящий. В отличие от Достоевского с его несчастной эпилепсией, Гоголь был честным безумцем. А Толстой – нормален, хоть им и движет энергия заблуждения. Он переписывает романы, покрывая листы своим неудобоваримым почерком, затем делает вставки, потом записывает что-то поперёк строчек. Методом последовательных итераций (я говорю это моей спутнице кокетливо, как человек, осенённый

естественным образованием) он приходил к тому, что часто отличалось от первоначального замысла. Однажды Толстой посчитал, кстати, «Войну и мир» и «Анну Каренину» вещами зряшными, несостоящими.

Дама в этот момент лихо обгоняет чьи-то дряхлые «жигули».

Тут я задумываюсь. Что, если читатель (или моя спутница) решит, что я просто пошляк, который издевается над великим писателем земли русской?!

Мне эта мысль неприятна. Очень хочется убедить читателя в обратном – о моей гипотетической спутнице в этом ключе я боюсь и думать. Тогда я продолжаю:

– Знаете, в силу обстоятельств жизни я то и дело сталкиваюсь с оценками своих и чужих текстов. Более того, чужие тексты я оцениваю профессионально. Но наедине с собой всё время задаюсь вопросом о механизме этой оценки.

А если человек должен высказаться по поводу прочитанного, так и вовсе беда: он хватается за пустоту увиденного. Он наспех выписывает что-то причудливое и, как ему кажется, глупое. В антирелигиозной книге, что я тоже читал в детстве, автор глумился над Библией и, чтобы подчеркнуть её абсурдность, блажил: и повелел, дескать, Бог истребить ему всякого мочащегося к стене! Поглядите! Это преступление! Мочиться на стену! Человек, значит, мог мочиться на дерево, куст, столб и на собственную мать, а вот на стену – ни-ни. Не глупая ли книга?

Потом оказалось, что великая книга вовсе не глупа, а это комментатор не умён. Ну и оказалось, что «мочащийся к стене» – вполне чёткая антропологическая категория, закреплённая в... Впрочем, что я объясняю.

Было множество претензий к русской классике – только ленивый не пинал Достоевского за «круглый стол овальной формы», Толстого за антиисторизм и потерю управления в предложении. Или, пуще того, извлекает обыватель (социальные сети такой демонстрации способствуют) цитату: «Поэтому-то и Копёнкин, и Гопнер не могли заметить коммунизма – он не стал ещё промежуточным веществом между туловищами пролетариев»²⁰ – и ну глумиться: «Ну кривой язык-то! Туловище! Туловище! Графоман! Тоже мне, пейсатель!» Но при внимательном рассмотрении Толстой остаётся Толстым, Достоевский – Достоевским, да и Платонов – Платоновым, несмотря на то что дни чтения сочтены.

Что я люблю у Толстого, так это несобственную авторскую речь, нет, не ту, которая становится явной, когда собирается в главы, вызывая стон у школьниц, а междометие, комментарий к фразе главного героя. Скажем, такой пассаж: «Эффект, производимый речами княгини Мягкой, всегда был одинаков, и секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила хотя и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки. Княгиня Мягкая не могла понять, отчего это так действовало, но знала, что это так действовало, и пользовалась этим»²¹.

Вот если взглядеться в список томов наиболее полного издания Толстого, так называемого юбилейного, то можно сделать очень интересные выводы. Это собрание, кстати, не академическое, но приближается к нему – так, кажется, сказал Эйхенбаум. Сейчас, мадам, я вам скажу, собираются издать стотомник – посмотрим, что из этого выйдет.

...Итак, юбилейное собрание, выходявшее в 1928–1964 годах, делалось тремя сериями: серия первая (произведения) тома 1–45, серия вторая (дневники), тома 46–58, серия третья (письма), тома 59–89. Причём в серии «произведения» опубликованы не только знаменитые романы, но и «Новая азбука и русские книги для чтения», педагогические статьи, два тома «На каждый день», «Круг чтения» и, разумеется, черновики и варианты. У читателей Тол-

²⁰ Платонов А. Чевенгур // Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М.: Информпечать, 1998. С. 357.

²¹ Толстой Л. ПСС: в 90 т. Т. 18: Анна Каренина. Части 1–4. С. 142–143.

стого могут быть разные предпочтения: некоторые любят «Анну Каренину» и «Войну и мир», а «Воскресение» на дух не переносят. Другие любят и «Фальшивый купон», а от пьесы «Плоды просвещения» и вовсе приходят в экстаз.

Однако ж из структуры юбилейного собрания можно сделать обещанный интересный вывод: мы все оставляем вокруг себя довольно много текстов. Я не берусь дать руку на отсечение, что всякий поборет Толстого, но если таким способом напечатать твои статьи, то выйдет изрядное собрание. А уж если комментированным и атрибутированным корпусом издать наши SMS и интервью! И не счета «Билайн, 4000 рублей, срок оплаты до 13.07.2009», а вполне себе включающиеся в собрания «Приходи на площадь к Исакию, там все наши:))» и «Вчера с Божьей помощью поимел Аньку К.».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.